



Н.С. ЛЕСКОВ



Николай Семёнович Лесков

Сеничкин яд

Содержание

Глава первая	0005
Глава вторая	0008
Глава третья	0015
Глава четвертая	0019
Глава пятая	0024
Глава шестая	0031
Глава седьмая	0033
Глава восьмая	0037
Глава девятая	0043
Глава десятая	0046
Глава одиннадцатая	0050
Глава двенадцатая	0053
Глава тринадцатая	0055
Глава четырнадцатая	0058
Глава пятнадцатая	0061
Глава шестнадцатая	0064
Глава семнадцатая	0067
Глава восемнадцатая	0072
Глава девятнадцатая	0080

Николай Лесков
Сеничкин яд
По запискам Исмаилова (30-е
годы)

*Издrevле избева змий сатана смрад-
ный яд свой, им же окалях прелестию
души чистоту и омрачи ума благоис-
кусную светлость.*

Сказ. об «Отцах и страдальцах»

Глава первая

Полагают, что «Сеничкин яд», которым ополнены многие души в России, изобретен и выработан в шестидесятых годах в химической лаборатории военно-медицинской академии лекарским сыном Базаровым. Здесь же этот яд будто разлит и разослан прямо во все мужские и женские училища, причем наибольшие его дозы попали и в духовные семинарии. Таким образом будто и пошла отравка самым вредным из ядов – «Сеничкиным ядом».

Но есть и другое мнение, что «Сеничкин яд» гораздо старше самого Базарова и вывезен к нам из заграницы контрабандою в кавалерийских тороках, а разливка его первоначально производилась кустарным образом по домам, и притом чаще всего по домам самым почтенным, именитым и поставленным в самые выгодные, по-видимому, условия для того, чтобы такая вредная гадость, как «Сеничкин яд», туда ни под каким видом проникать не могла.

Наконец, существует еще и третье объяс-

нение, и оно, может быть, самое правильное, что «Сеничкин яд» это и есть та самая «пре-лесть, юже издревле изbleва змий». Словом, это изобретение самого сатаны и изобре-тение, как сам черт, старое. Судя по необычно-венной скрытности заражения «Сеничкиным ядом», пристойно думать, что всего вернее это – действительно дело змия.

Впрочем, основательно разобраться в этом за давностью лет чрезвычайно трудно, но очень любопытно проследить, как «Сеничкин яд» распространился в русском обществе в го-ды, предшествовавшие рождению нашего по-коления, которое несет на себе сугубое обви-нение за изобретение «яда». Это здесь и пред-лагается.

Материал для наблюдения, как распро-странялся и действовал «Сеничкин яд» в тридцатых годах нашего столетия, мы нахо-дим в записках магистра 2-го курса москов-ской духовной академии и профессора вифан-ской семинарии, а впоследствии синодально-го секретаря Филиппа Филипповича Исмай-лова, драгоценнейшею чертою характера ко-торого надо считать его правдивость, часто

совсем не щадящую его собственного самолюбия.

Педагогические наблюдения и заметки Исмаилова интересны не менее рассказанных уже по его запискам любовных и брачных эпизодов «глухой поры» тридцатых годов. Здесь мы увидим лжепатриотизм и лжеумствования лукавых людей, совершавших на полной свободе любопытный опыт воспитания государственных деятелей на такой манер, как их в чужих краях не воспитывают, т. е. в особенном самобытном русском направлении.

Все это, по моему мнению, исполнено живого исторического интереса и вполне достойно внимания просвещенных людей, дорожащих благоденствием своей родины.

«История учит», и знать старые ошибки полезно для того, чтобы не желать повторять их наново.

Глава вторая

Дом, где жил и волею-неволею производил свои житейские наблюдения магистр Исмаилов, был один из почетнейших домов в Петербурге, – это дом генерала-от-артиллерии Петра Михайловича Копцевича, который в свое время занимал очень важные должности: он был генерал-губернатором Западной Сибири, а потом, после небольшого перерыва, по приглашению государя Николая Павловича, служил командиром корпуса внутренней стражи и занимал видное место в орденской думе.

Служебный перерыв между генерал-губернаторством и командирством был вызван особым семейным обстоятельством, которое свидетельствует о крайней серьезности отношений генерала к своим отеческим обязанностям. Копцевич был не только превосходный сын отечества, но и чадолубивейший отец семьи, и когда выгоды последней требовали какой-нибудь жертвы, он не дорожил ничем, – ни местом, ни карьерою. Исмаилов говорит:

«Он принял отставку (от генерал-губерна-

торства) потому единственно, что сын, десятилетний мальчик, воспитывавшийся у бабушки (в Малороссии) сделался нездоров, так что надо было лечить его путешествием. Посему генерал целый год ездил с ним по Германии и Италии».

Здесь заботливый отец имел полную возможность присмотреться к чужеземному воспитанию, и оно ему все вообще чрезвычайно не понравилось.

Генерал Петр Михайлович не любил ничего иностранного, и в таком точно духе у них составила́сь целая компания: «презирать иностранщину» – в их кружке это было в моде, друг перед другом они этим хвалились. Знакомство у Копцевича было обширное – преимущественно в высшем свете и в высшем духовенстве, которое Копцевич считал призванным и наиболее способным дать наилучшее направление русскому просвещению.

Петр Михайлович еще до поездки в Сибирь на генерал-губернаторство любил беседы с иерархами, из которых один, именно киевский митрополит Серапион Александровский,[1] в своем рукописном дневнике оста-

вил собственноручные заметки о встречах с этим генералом и частью о его характере.

Копцевич не пасовал и перед митрополитом. Для лучшего знакомства с этим непосредственным лицом приведем здесь маленькие выдержки из дневника киевского архипастыря, который на досуге собственноручно записывал важнейшие события своего времени.

Так, митрополит Серапион начертал, например, следующее:

«1816 г. июля 5-го, среда. Вечером был от генерала Копчевского адъютант, который объявил, что сей день жена генерала скончалась от родов».

«Июля 11-го, вторник. В пятом часу был генерал-лейтенант Копчевич и подчиван чаем».

«Ноября 3-го, пятница. Был генерал-лейтенант Копчевич и пожелал видеть знаки Андреевские бриллиантовые, пожалованные мне государем, кои, осмотрев, очень дорого ценил, сказав притом, что „сие украшение прилично светским“, что меня очень удивило».

В самом этом замечании генерала насчет орденских украшений по-настоящему надо бы видеть некоторую тенденциозную ядовитость, но, быть может, Копцевич находил для суждения об архиерейских орденах основания во мнениях митрополита Платона Левшина, который основывался на чем-то еще более древнем.

Зная, что архиереи русские особенно любят водить знакомство с людьми, достигшими известных степеней, и только от таковых с удивлением, но без гнева и возражений, приемлют колкие и неприятные замечания вроде того, какое сделал Серапиону Копцевич или «Копчевич», мы, конечно, обязаны думать, что генерал Петр Михайлович и в 1816 году имел уже немалый вес в обществе. Но в 1828 г., после того, когда Копцевич провел десять лет на генерал-губернаторстве, да более года в вояже по Европе и по возвращении состоял не у дел, он изменился. Теперь он уже не с колкостями подходил к иерархам,[2] а с почтительным исканием: он ищет у них наставления и помощи, как воспитать единственного сына в такой бережи, чтобы его не

коснулась «тлетворная зараза западных идей». Действительно ли его это так сильно озабочивало или он этим только угодовал, увидим ниже. Но носиться с этим патристическим яйцом было тогда очень в моде, и вот наш генерал предстает с своей гражданской скорбью к Филарету Дроздову, митрополиту московскому, бывшему тогда в апогее славы его ума, критическая оценка которого до сих пор иными применяется к ереси и даже почти к богохульству.

Как основателен был во всех своих поступках генерал Копцевич и как он предусмотрительно брался за воспитание сына, видно из следующего. По возвращении из заграничного путешествия он уже не возвратил мальчика бабушке, у которой внук дожился до того, что его пришлось целый год «лечить вояжами», а отдал этого молодца в какой-то «институт» в Петербурге. (Что это был за институт, ниже будет сказано.) Но генерал и на этом не успокоился, потому что «институт» в скором времени «распался» по вине одной «сильной дамы», подпустившей туда ужасного, но оболстительного змия. Генерал отчаялся в пе-

тербургских людях и «поехал к митрополиту Филарету в Москву, собственно для того, чтобы приискать сыну своему наставника из лиц, образованных в духовных училищах». На самом же деле, кажется, он поехал, чтобы показать себя Филарету и повыгоднее себя перед ним аттестовать.

Иначе почему бы генералу не воспользоваться таковыми же учеными петербургской духовной подготовки? Конечно, может быть, что он боялся, не хуже ли здесь духовное образование, чем в Москве, но кажется, что гораздо более для него заключалось в том, чтобы познакомиться с Дроздовым и поставить ему на вид свой строгий взгляд на воспитание и чистое патриотическое направление с ненавистью ко всему иностранному. Сделать это известным митрополиту Филарету был расчет, и очень недурной.

К этому тогда прибегали многие, и не без пользы для себя и для своих присных. «Противность идеям александровского века» входила в моду, и за нее, случалось, «жаловали»... Состоящему не у дел генерал-губернатору было отнюдь не вредно поплакаться перед

могущественным иерархом на всеобщее «петербургское растление», которого он, Копцевич, как человек истинно русский и будто бы полный беззаветной преданности православию и другим чисто русским «народным элементам», перенести не мог. Тем более его угнетала мысль, что всеми этими губительными началами может быть отравлена детская душа его сына.

К этому, можно было надеяться, владыка московский не окажется безучастным, и это к чему-нибудь послужит, что-нибудь выйдет из этого бесполезное.

Генерал не ошибся.

Глава третья

Явился Петр Михайлович к Филарету и повел себя здесь уже совсем не так, как у высокопреосвященного Серапиона. Московского митрополита он не стал затруднять суетною просьбою показать ему жалованные орденские знаки, которых у Филарета Дроздова было не менее, а более, чем у Серапиона Александровского. Нет, тут генерал почтительнейше преклонился и сыновне просил архипастырской помощи: как спасти дитя от волков в овечьей шкуре, которыми и тогда уже был переполнен ожидающий провала Петербург.

– В Петербурге нет людей, всемилостивейший владыко! – жаловался генерал митрополиту.

– Знаю, знаю, – отвечал ему Филарет и, уловленный этою лестью генерала, сделал неосторожность: он не только рекомендовал, но из своих рук дал Копцевичу человека – и человека с головы до ног (из которого потом Копцевич, когда благоустроился, с бесстыдным нахальством стремился сделать «поношение человеком» и в значительной мере до-

стиг этого).

Дарованный Филаретом генералу воспитатель был Исмайллов, магистр и профессор вифанской семинарии, знаток математики и физики, и притом любитель светского обращения, для коего он и покинул все общество бродивших в Вифании неуклюжих фигур в длиннополых фенебриях и полуфенебриях, а наичаще даже просто в халатах. Исмайллов был человек с любовью к изящному, – человек как раз к генеральскому дому.

Владыка московский сам «безвкусия не любил» и знал, кто где будет у места.

Генерал, разумеется, Филаретова выбора не критиковал и сейчас же «взял» наставника, которым благословил его святитель московский. Исмайллову Копцевич назначил жалованья «три тысячи рублей ассигнациями» в год и обязался пристроить его на хорошую службу, как только сам получит место. Тогда генерал еще не знал, «где он сам устроится: в Москве или в Петербурге». «Устройство» зависело от одной старухи, сидевшей в старом «гетманском доме» в малороссийской деревне, но величайшей мастерицы обдeldывать де-

ла. Она уже двигала Копцевича и по Киеву, и в Сибирь, где он оставил генерал-губернаторство совсем не «единственно для воспитания сына», как предполагал довольно легковверный Исмайллов.

Теперь гетманша опять должна подействовать, а Филарет воспособить.

Исмайллов по благословению владыки согласился поступить к генералу, скоро собрался, простился еще раз, «в последнее принял благословение от митрополита Филарета» и поехал...

Куда?

Всякий, конечно, подумает, что воспитатель поспешит в Петербург, т. е. туда, где оставался в это время генеральский сын, отданный там после закрытия загадочного «института» в «российскую академию» под присмотр какому-то «академику». Очевидно, Исмайллов или должен жить с воспитанником в Петербурге, или же он провезет его в Малороссию, к отцу, и там посвятит всего себя его воспитанию. Последнее могло быть очень кстати потому, что мальчика после «института» надо было отучить от многого дурного и приучить

к хорошему.

Но в том-то и дело, что все это была одна шумиха слов, а умысел другой тут был. Генерал много и убедительно говорил митрополиту о своих скорбях и заботах исторгнуть сына из-под влияния Петербурга и петербургских идей, но между тем на самом деле он не только сам весь тяготел к Петербургу, но и сына не желал удалять от здешних карьерных пружин.

Вообще с оценкою патриотических и педагогических хлопот и терзаний генерала читатель должен повременить до конца этого небольшого очерка патриотических притворств одного из видных деятелей тридцатых годов, когда было в ходу беззастенчивое лицемерие и благоуспешно производилось самое усердное разрыхление почвы под нигилистические засеваы.

Глава четвертая

Генерал и наставник, простившись в Москве с Филаретом, выехали из первопрестольной 29-го сентября по дороге в Чернигов, где поблизости было имение тещи Копцевича, — дамы знатной, гордой, своенравной и очень ловкой, которая самого генерала держала, что называется, в ежовых рукавицах.

Там для Исмайлова прямых занятий не было, да собственно говоря (как увидим далее) и все остальное время двенадцатилетнего пребывания его в этом доме он прибалтывался здесь в неопределенной роли «более как друг, чем как наставник». По духу записок очень позволительно думать, что Исмайлов, кажется, совсем и не представлял даже для Копцевича интереса как педагог, а только некоторое время имел здесь свое значение как человек, поставленный в дом митрополитом Филаретом. Это было как раз в те годы, когда укоренялось неосновательное мнение, будто бы митрополит «оказал важную услугу императору Николаю Павловичу при восшествии его на престол», после чего будто государь ни

в чем ему «отказать не мог»... Тогда этому очень многие верили и придавали всей этой нестаточности большое значение.

Копцевич, едучи с Исмайловым в Малороссию, играл, впрочем, такую роль, что он в деле воспитания будто и Филарету еще не вполне верит: он вез воспитателя с собою, чтобы на свободе в Малороссии хорошенько этого магистра «испытать с разных сторон». В существе же дела Копцевич вез благословенного Филаретом воспитателя показать теще, без которой генерал не смел ничего сделать в семействе, потому что он тещи очень боялся. Притом же он теперь был не устроен, а эта «деревенская старуха знатного гетманского рода умела превосходно устраивать». Генерал в этом нуждался и теще подслуживался.

Тем не менее от Исмайлова он, разумеется, таил свои планы, и они, едучи, все друг с другом серьезничали.

Все «скучное дорожное время проводили в разговорах не пустых, для развлечения, а серьезных: генерал (пишет Исмайлов) испытывал меня с разных сторон, а мне хотелось вызнать его качества, цель и образ жизни, об-

становку в свете и домашний быт».

Если это сравнить с заботами педагога, приступающего к принятию в свои руки испорченного мальчика, в педагогическом романе Ауэрбаха «Дача на Рейне», или в английском романе «Кенельм Чилингли», то выходит, что педагоги чужих стран несравненно больше склонны были думать о сердцах своих воспитанников, чем о себе, или еще о таких вещах, как «светская обстановка» родителей. Те думали, что наставника подобные вещи вовсе не касаются, Исмайлову же обо всем этом стала забота. Но в наших интересах, для характеристики тридцатых годов, мы найдем нечто любопытное и в этих дорожных беседах двух путников. Генерал Копцевич откроет нам в них, каково было в то время воспитание в кадетских корпусах и что такое за учреждение было тот загадочный «институт», о котором носились когда-то какие-то ужасающие слухи и о котором и до сих пор иногда еще повторяются какие-то смутные предания. Благодаря Исмайлову теперь, наконец, впервые проливается на это несколько более света, и мы получаем обстоятельные вести от од-

ного из фундаторов и распорядителей этого любопытнейшего заведения, из которого все дети вдруг были разобраны, как из чумного карантина. Это случилось «по причине большого скандала», относящегося к чрезвычайным хроникам столицы.

Но прежде два слова о кадетских корпусах.

Постоянно упоминая о своем «русском духе» и о своем «твердом православии», генерал от артиллерии высказал магистру свое откровенное мнение о науках и учебных заведениях в России. К университетам Копцевич, конечно, не благоволил, но, впрочем, не более, как и к кадетским корпусам. По его мнению, и эти последние в отношении доброкачества воспитания были не лучше всех прочих учебных заведений. Генерал судил о корпусах так: «корпуса у нас очень шатки; в них нет настоящей, свойственной русскому, основы; начальники, большею частью, иноверцы или хоть и русские, но на иностранный манер образованные. Из этих учебных заведений молодые люди очень часто выходят с дурными направлениями – без религии, без нравственности, без патриотизма. Нрав-

ственность в них (корпусах) преподает кто как хочет; религия все равно по какому катехизису – по православному, иезуитскому или лютеранскому, – пожалуй, хоть по магометанскому, и то выучат. О патриотизме, любви к отечеству и говорить нечего».

«В России, говорят (корпусные), все нехорошо, – грубость, глупость и невежество. То ли дело за границу, во Франции, Италии, Германии, Англии. Даже у нас в Польше лучше, чем в России. И там даже свободнее дышится».

Конечно, может быть, генерал очень преувеличивал царствовавшее в военных школах тридцатых годов растление, или, по крайней мере, дурное мнение о корпусах принадлежало ему единолично? Но генерал ручался, что «не один он так думает, и перечислил несколько лиц из важных государственных особ, недовольных общественным в то время воспитанием».

Это «святое недовольство» и породило мысль о достославном институте, о котором на сей раз получаем возможность узнать кое-что настоящее.

Глава пятая

«Шестеро из важных лиц – отцы детей, размышляя об образовании своих сыновей, положили учредить особый институт домашний.[3] С общего совета составили проект; наняли прекрасный дом; пригласили отличных учителей; на содержание института определили по 5000 руб. ассигнациями в год с каждого воспитанника; главный надзор за ходом учения и образом жизни воспитанников и вообще всю дирекцию института приняли на себя непосредственно, и по очереди каждый из нас в свою неделю должен был посещать институт раз или два в день, непременно требовал отчета в успехах и поведении учеников: просматривать лекции преподавателей и давать приказы, направляя все к общей цели заведения. Постоянный надзор вверили одному особому гувернеру и сверх того всякому воспитаннику дан был свой дядька и свой прислужник, через которых родители тоже могли наблюдать за своими детьми» (Терпигорев где-то рассказывает, как таковых дядек самих секли).

Словом, устроили «институт», какой прилично людям благородным, чтобы убеждать детей и от «Сеничкина яда», и от строгостей казенных заведений, где тогда благополучно секли... В великосветском особом институте все неудобное было устранено, и Русь должна была получить образцовый рассадник образцового же чисто русского, но при том самого высокого воспитания. Министерство просвещения не должно было до этого института пальцем дотронуться, чтобы ничего не испортить и не сбить дела опять на какой-нибудь чужеземный манер. А так как все это дело затеяли «шесть сановников», которые пустяками заниматься не станут, то к ним никто не придирался и в великое дело их не вступался. Они учреждали свой институт на полной свободе от «министерских фантазий», и могли за один прием осуществить свои собственные родительские фантазии, и тут же, что называется, «заострить спицу» учебному ведомству.

Это и была задача: пусть и правительство, и общество – пусть все увидят, как криво и противонародно ведет образовательное дело

ведомство просвещения и как надо воспитывать, чтобы из мальчика вышел «истинно русский человек».

Какой-то шутник острил, будто «для этого надо послать его (т. е. русского) к немцу, по примеру братьев Аксаковых»; но это еще шутка веселая; а над институтом шести государственных мужейстряслась такая шутка, что вместо «истинно русских» людей из здешних воспитанников были приготовлены люди, которые, вероятно, теперь и не признаются к своей *alma mater*. [4]

«Институт пошел было хорошо, говорил генерал Копцевич, но только одна мать, которая имела двух сыновей в заведении, с женскою слабостью покровительствовала одному французу и, вопреки нашим и своего супруга убеждениям, успела втереть своего протеже в гувернеры. Француз-некресть, питомец революции, ловкий, красивый и образованный, повел детей на свой манер». Все «шесть государственных мужей», дежуривших поочередно, между которыми находился и муж сильной покровительницы французского ферлакура, ничего не могли сделать с этим супоста-

том. Что они ни придумывали против него своим серьезным и опытным государственным умом, «сильная дама» все решительно легкомысленно разрушала. Она была столь смела, что не позволяла фундаторам образцового института даже делать замечания ее фавориту. Благодаря этому выходило так, что государственные мужи, приезжая в институт на дежурства, сами являлись у этого француза как бы в подчинении или почти на побегушках. Он самостоятельно все направлял en général,[5] а они только похаживали, да глядели кое-что по мелочи. В заведении пошли «вещи ужасные». «У детей завелись собаки, куренье табаку и домашние фейерверки», а также и «другие непозволительные шалости» такого возмутительного свойства, что отцы и учредители института увидели себя в крайности или выгнать француза, или... закрыть институт... Огласки, разумеется, избегали, да и незачем было доводить до нее: нужно было только просто «вышвырнуть за порог развращавшего детей питомца революции». Это без всякого затруднения и без излишних в данном случае церемоний сделал бы каждый

простой человек с умом и честною натурою. Удалите из дому вредного человека – и вся недолга. Это же самое, кажется, могли сделать в подобном возмутительном случае и высокопоставленные государственные сановники, основавшие институт. Их чувства, надо полагать, были еще тоньше, а понимание острее, а потому они сделают, что им следовало сделать, т. е. они сначала избавят свое образцовое воспитательное заведение от француза, который вместо того, чтобы приготавливать из питомцев «русских людей», учил их, что называется, «на собак лаять», а потом поставят на его место лучшего воспитателя.

Да, но увы и ах, на высотах и снег, и лед иначе тает, чем в долинах: шесть сановников «не смели» быть так решительны: они должны были принять в расчет такие соображения, по которым всем им шестерым вместе и порознь была страшна «сильная, с весом дама». А она, по странному женскому капризу, во что бы то ни стало хотела, чтобы ее французский протеже стоял во главе воспитательного заведения, которое с тем только именно и было основано, чтобы освободить русских

благорожденных детей из-под влияния иноверных «нехристей» и утвердить в этих юношах «чисто православные русские начала». Без этого все заведение теряло весь свой *raison d'être*. [6] Но в женских сердцах любовная страсть стоит превыше всех доводов рассудка. Что ни говорили сановники «сильной и с весом» даме, она ничего не принимала в резон и настойчиво приказывала мужу содержать ее любовника под видом воспитателя.

Тогда сановники, без сомнения, давно искушенные в политике, послали даме тяжелый *ultimatum*: или она должна взять своего француза, или они закроют институт.

Дама осталась непреклонною и, несмотря на всю важность вопроса, решила его с непротитительным легкомыслием. Она сказала:

«— Закрывайте, а, пока не закроете, он там останется...»

Отцы, и притом люди важные, еще побились, но, наконец, увидали, что дело их проиграно и француз учиняет с их детьми дела неподобные. «Тогда они принуждены были взять детей, и институт сам разрушился».

Так закончил генерал рассказ о существо-

вании удивительного «института», о котором до нас доносился только глухой гул преданий, и по тем преданиям это заведение, имевшее шесть фундаторов и столько же нянек, представлялось самым гадким из гадких. Откровенный рассказ генерала Копцевича, который все это знал и видел, заставляет думать, что в преданиях тех должна быть правда. Этого достаточно, чтобы почувствовать жалость и сострадание к судьбе иных великих начинаний...

Глава шестая

Но revenons б nos moutons:[7] как блуждали другие товарищи генерала по этому несчастному случаю, неизвестно, но сам Копцевич открыл верный путь спасения: он «решил пренебречь грубоватостью семинаристов», лишь бы получить то, что в них укоренилось хорошего под руководством умных архипастырей.

Такова была причина призвания в генеральское общество магистра Исмайлова, который, судя по его запискам, был тоже сильно «невозделан», но имел тяготенье к свету и теплил в своем довольно слабом сердце свечечку крылатому богу любви, «только без брака».

Собственно говоря, и Исмайлов был в своем роде проказник и куртизан, да и сам генерал тоже, а между тем оба так и топорщатся, так и встают на дыбы, чтобы видно было миру и департаменту, какие они «истинно русские люди»... И все это так... кое-как, живой иглой и белыми нитками... Притворство не столько уже отвратительное, сколько обид-

ное за тех, кого эти люди вокруг себя тогда видели, позволяя себе дурачиться на их глазах так откровенно и так беззастенчиво... Таковы вот эти «мужи тридцатых годов», к которым уже подвигает свой тихий, но строгий светоч история. У кого есть страх в сердце, для того это должно быть ужасно! Этими «мужами», как мы уже видели и еще увидим, управляли бабы, и они же, те же бабы, выводили их в чины и сажали на высокие кресла.

Глава седьмая

Вот как привезли воспитателя будущему дипломату.

«В Чернигове приняли меня ласково, но гордо, – повествует Исмайллов. – Бабушка поручаемого мне воспитанника – дочь гетмана; она чувствовала себя так высоко, что я снизу чуть мог ее видеть. Она почти не выходила из своих комнат. Я видел ее только тогда, когда она призывала меня к себе. Она меня испытывала, давала советы и наставления, как обходиться с ее внуком, и терпеть не могла, если я дерзал вставить в разговор свое слово. Разумеется, я должен был держать себя с нею как болван (sic), слушать и молчать, и я слушал и молчал». Воспитатель наблюдал только, «какой педагогической системы держалась кичливая гетманская дочь в воспитании своего внука, приняв его со второго года и вырастив до десяти лет». Как все практически ловкие невежды, гетманская дочь была исполнена высокомерия, но, кажется, она недаром почитала себя мастерицею воспитывать «истинно русских людей», т. е. именно таких,

какие требовались по тому времени, когда высшею добродетелью слыла так называемая «искательность». Вместо рекомендации уму и честности, тогда прямо говорили: «это иска- тельный молодой человек», и то была наи- лучшая рекомендация.

Родные и друзья гетманши, раболепствуя перед нею, величали ее «воспитательницею». Той это нравилось, и она гордилась таким ти- тулом. Каково при этом могло быть угловато- му духовному магистру, нетрудно предста- вить. «О! в этой воспитательнице, как ее ве- личали, – пишет он, – я нашел не много ра- зумного».

«Правда, она воспитывала двух сыновей и трех дочерей», но собственно надо сказать: «она всех их хорошо устроила, но нехорошо настроила». Исмайлов, записками которого мы пользуемся, был человек довольно про- стодушный, и даже там, где он хотел похит- рить, все его попытки в этом искусстве край- не плохи и смешны, но и этот, совсем не про- ницательный, человек сразу же заметил, что образование или лучшее «настроение» ума, вкуса и сердца – это у русского beau monde'a

было только предлогом, а главное было «устройство детей», т. е. вывод их на такие дороги, по которым быстрее и вернее можно достичь без знаний и трудов до «степеней известных». Все превосходно по этому рецепту устроенные члены гетманской семьи магистру не понравились. Карьеристы тридцатых годов были люди, у которых напрасно было искать настоящего образования, тем менее души и сердца. О достоинстве характеров, разумеется, нечего было и говорить. Это – бремя, карьерным людям неудобноносимое. Генерал Копцевич был той же масти козырь: он, несмотря на свои почтенные лета, большой чин и пройденные уже им военные должности, искал благорасположения старой, кичливой казачки, – и еще как терпеливо! Будучи в Сибири генерал-губернатором, тут, в дни своего безвременья, в черниговской глуши, он покорно слушал старушечье умничанье и не смел поперек слова молвить. Сказывают, что он даже и не женился во второй раз потому, что не хотел потерять «сильную тещу». Старая гетманша это знала и обращалась с ним с обидною презрительностью. Она считала его

глупым, называла «ляшком» и «добре его жу-
чила як хлопа».

Разумеется, что столь много терпевший от
тещи Копцевич тоже ее ненавидел и рвался
как бы поскорее оттерпеться здесь у нее на
деревенской эпитимии без всяких утешений
власти, но потом вознаградить себя, – вы-
рваться и начать управлять грозно и величе-
ственно, пособлять двигать огромное колесо
государственной машины, у которой тогда
уже пристроилось много таких же почетных
лиц, как Копцевич.

Глава восьмая

В гетманской семье, состоявшей из прихвостней старой и упрямой хохлушки, Исмайлов отличает одну младшую дочь, которая «не во всем была согласна с правилами матери». А правила эти были такие дрянные, что добрая девушка-дочь вменила себе в пожизненную обязанность скрывать привычки матери не только от света, но даже и от арендаторов и безмолвного холопства. Вельможная дама, говорят, имела дарование напишаться по-фельдфебельски и в этом состоянии требовала за собою большого присмотра: в ней тогда гуляли повадки самые неудобные. Натрезво же она была надменна, кичлива, упряма и самодурлива. Кажется, и этого довольно, чтобы такая особа опротивела. Магистр это почувствовал и «старался приблизиться более к дочери, чем к матери».

Девушке, пожертвовавшей собою для охраны матери, тогда уже шло лет за тридцать пять; она была умна, добра и прямодушна. Довольно того, что, видя недостатки своей матери, она не пошла сама замуж, а решилась по-

святить всю свою жизнь тому, чтобы хранить материнскую «репутацию»... Лицо необыкновенно милое и симпатичное.

Добрая девушка несла другие семейные тяготы и знала все таким, как оно было на самом деле. Она сообщила педагогу и верные понятия о его будущем воспитаннике. Оказалось, что этот будто бы нежно любимый сын целые «девять лет не видал отца», ибо находился у старой бабушки в амишках. От природы он был мальчик хорошего здоровья, но бабушка его изнежила; он стал слабеть и сделался «упрям» до того, что «никто не мог с ним сладить». «Мамка и дядька, не зная как унять его, стращали отцом». От этого он, во все не зная отеческой ласки, стал бояться отца, как страшного пугала, но зато других никого не боялся и не слушался. «Вам будет трудно управляться с ним (говорила девушка). Надобно держать его не очень строго, но поглубже, помужественнее. Прежде всего вам надо будет поставить себя в уровень с отцом, а как это сделать – я не знаю».

Разумеется, еще менее мог знать об этом Исмайлов, которому так и не удалось себя по-

ставить во всю жизнь, чтобы его не трактовали порою очень унижительно. Да и едва ли кому-либо другому могло удаться поставить себя иначе в доме генерала Копцевича, так как человек этот, получив новое служебное назначение, слишком торопился вознаградить себя за перенесенные от тещи унижения и показал себя слишком невежественным и грубым, наглым и невыносимым.

Собственно генерал, как сказано, был такой же поглощенный карьерист, как и вся гетманская семья, но карьеру свою он хотел построить на ином, новом и несколько непонятном для прочих его родственников основании, именно: на утрировке русского направления. Гетманская дочь слушала это, как что-то совершенно новое и мало ей понятное, притом и невероятное, и ненадежное. Конечно, генерал мог дать понять старухе, что весь руссицизм, о котором он вел разговоры, тоже есть своевременное карьерное приспособление, но той и это казалось вздором. Она судила по-старому, что, «ежели кто кому нужен в случае, то он и так все сделает, а если без этого, то хоть дегтем провоняй, ничего не сдела-

ет».

Генерал шел напролом и составил план, чтобы из его разбалованного шалопаю, который требовал «лозы учительной», хитро-мудро и невеликим коштом образовать человека государственного, и именно «дипломата в русском духе». Он открыл этот план Исмайлову и сделал ему заказ приготовить дипломата в русском вкусе в «три года».

Духовный магистр не оробел от такого заказа: он чувствовал себя в силах «образовать дипломата в три года в России». Это объясняется, конечно, тем, что Исмайлов был человек бесхитростный и совершенно недалъновидный.

По запискам Исмайлова, мальчику, из которого предстояло сделать дипломата, в это время было «десять лет». На самом деле ему, должно быть, было лет двенадцать, потому что в записках митрополита Серапиона отмечено, что жена Копцевича умерла родами 3-го июля 1816 года. Следовательно, всей дипломатической мудрости его надо было обучить к пятнадцати годам; затем предполагалось ему три года на заграничный вояж, а в восемна-

дцать лет уже начало служебной карьеры по дипломатической части. В этом возрасте генерал уже мог рассчитывать записать юношу при каком-нибудь посольстве *attaché* и отпустить его «в чужие края» с хорошим содержанием, «соответствующим достоинству России». С этого собственно было в обыкновении начинать карьеры с юных лет подготавливаемых русских дипломатов, и есть известные русские семьи, где такой порядок так и соблюдается из года в год, как наследственное право.

Есть убеждение, что Россия, в качестве великого государства, «известного своими натуральными богатствами», иначе и поступать не может. Мы на этот счет ничего не знаем и верим людям сведущим.

Но если трудно бороться с направлением, то еще труднее побеждать «чин естества» или силы врожденные. Отрок, из которого бывший профессор вифанской семинарии и будущий синодальный секретарь должен был, по желанию его отца, в три года «образовать дипломата», обнаруживал склонности совсем не дипломатические, а такие, что ни себе по-

смотреть, ни людям показать. Вскоре мы увидим это несчастное создание, для окончательной пагубы которого будет сделано все, что может сделать только самый злой враг. Но пока еще переберемся из Малороссии в Петербург.

Небо умилоствивлялось над генералом, и старые связи его старой тещи еще возымели свое действие. В Петербурге о Копцевиче напоминали вовремя и кстати, и в ноябре генерал получил приглашение вступить в службу и назначен был служить в Петербурге (командиром корпуса внутренней стражи). Разумеется, дом исполнился радости: осеннее сидение в деревне среди раскисшего малороссийского чернозема кончилось, и началась опять настоящая, разумная жизнь с барабанами, флейтами, значками и проч.

Глава девятая

Генерал Копцевич собирался скоро, – с пылом юноши, летящего на свидание, поспешал он в столицу и уже терпеливо слушал последние напутствия гетманской дочери, которая была сомнительна насчет «русского направления» и советовала этим не увлекаться, потому что «это пройдет».

Генерал слушал эти внушения и сам соглашался, что в существе все это совершенная правда, которой и надо последовать; но, главное, он думал только как бы скорее вырваться из-под бабьей команды и начать самому командовать.

Второго декабря генерал с семейством и воспитателем прибыли в невскую столицу, а еще через месяц он уже устроил Исмайлова на службу в синоде (3-го января 1829 года) при особе друга своего, синодального обер-прокурора князя П. С. Мещерского. Устроен Исмайлов был так, чтобы служба ему числилась и приносила сопряженные с нею выгоды, а педагогическим занятиям с генеральским сыном чтобы не мешала. Но самого-то главного,

именно занятий-то этих с будущим дипломатом, и не было... С этим «главным делом своей жизни» генерал совсем не спешил, и сын генеральский «еще три месяца жил в российской академии» и не переезжал в дом родительский. Исмайлов сам являлся к мальчику «только часа на два в день на урок» и не мог действовать на него «как наставник и руководитель»; да и с уроками он претерпевал от своего ученика немало горя. «В нем очень обнаруживались своенравие и упрямство. Случалось (пишет Исмайлов), что ученик мой вдруг не захочет принять никакого урока (латинского языка или математики) или требует латинского языка вместо математики, и так настойчиво, что все убеждения напрасны – и мои, и академика, под надзором которого он жил».

Отвратительное своеволие детей и отсутствие семейной дисциплины, благодаря недостатку которой дом, вместо отрадного приюта, делается вертепом, ставятся нынче на счет дряблым теориям современной педагогики, но собственно и это несправедливо, и в этом случае теория только повторила то, что носилось

В жизни.

Наконец, нареченный дипломат был взят в дом, и воспитатель сумел обойтись с ним хорошо: он даже овладел его расположением, и мальчик ему охотно подчинялся, но в дело вмешался генерал и все испортил. Тут только стало ясно, что «русское воспитание», по понятиям этого патриота, выходило просто-невежественное воспитание. Исмайлова это приводило в ужас. Много труда ему стоило удерживать православный гнев генерала, когда он начинал проклинать сына; но еще больше ожидало его с устройством чисто учебной части, о которой генерал судил с поражающею отвагою исполинского невежества.

Глава десятая

Пригласили учителей французского и немецкого языков, истории и географии, танцованья, фехтованья и верховой езды. Я, говорит Исмайлов, настаивал еще пригласить учителя философии и политических наук, но генерал не согласился. «Философии он не терпел, а политике, вишь, можно научиться самому на службе. Катехизическое учение и священную историю прекратили, за достаточным будто их знанием». Таким образом все посвящение ребенка в православие, которое должно было руководить его, как духовный культ и «элемент народный», заканчивалось на двенадцатом году жизни, когда все понятия еще так детски несовершенно... Притворство генерала начало въявь обнаруживаться. Исмайлов пришел в смятение, но, однако, все-таки оставался у дела: он преподавал будущему дипломату не только латинский язык и математику, но, «зная цель приготовить воспитанника к дипломатической службе», имел в виду и это: он «предложил преподавать воспитаннику то, что для дипло-

мата нужно и важно». Обучение дипломатии шло «сократически разговорами в свободное от учебных занятий время». Словом, учебная часть свелась на пустяки.

Гигиена обреченного дипломата была также нехороша, как и учение: в комнате раздраженного и нервически-расстроенного дитяти держали температуру в 20 градусов; умывали его теплой водою и постоянно кутали. Он слабел и изнемогал от жары. Исмайллов понимал, что такое воспитание не годится для нашего неласкового климата... «но во всем этом был виноват сам генерал». Исмайллов не мог ничего переменить в образе жизни воспитанника: отец ничего не хотел изменять, боясь навлечь тем на себя неудовольствие своей малороссийской тещи «с весом», перевешившим теперь на его коромысле вес митрополита Филарета. Но вот генерал в мае выехал из Петербурга до осени, и Исмайллов остался хозяином своего педагогического дела и показал себя молодцом. Мальчик у него быстро переменялся к лучшему – он «оздоровел, побурел», стал весел и, что весьма важно, «привязался» к своему воспитателю, с которым они ходили,

ездили, катались на лодках, «одетые легко, иногда до полуночи».

Генерал, как возвратился в Петербург, так и ахнул. Это в самом деле смахивало на что-то настоящее, не форменное, а живое, здоровое и простое... Так Великого Петра немец Лефорт «едва не сгубил многократно». Это генералу не понравилось. Притом же, во время своих разъездов по «внутренней страже», он побывал в деревне у тещи, и та ему, надо полагать, дала новые нотации на разные предметы и, между прочим, насчет филаретовского кутейника, который гетманской дочери с первого взгляда не нравился, да и не мог нравиться... А тут этот кутейник завел дело так далеко, что воспитанник его уже и слушается, и любит. Пожалуй, у мальчика и в самом деле могли образоваться русские вкусы и складываться русские симпатии – любовь к земле, сострадание к закрепощенному народу... Генерал сметил это и взлютовал... Вдруг его осенило светом, что это «русское направление», если его взять всерьез, выходит даже совсем противно всем солидным соображениям о карьере. Может быть, он сам и не повинен в

этом открытии, а это ему растолковала гетманская дочь, которая упорно «не верила во всех Филаретов».

Генерал опять в оба проезда через Москву и не подумал съездить к московскому святителю, а поставленного им воспитателя начал теснить и грубо и жестоко преследовать.

Жизнь Исмайлова сделалась ужасною.

Глава одиннадцатая

«Генерал стал обходиться со мною холодно и до той степени обидно, что, например, главному человеку в доме, камердинеру, запретил меня слушаться, а в другой раз, во время обеда, когда за столом было много посторонних лиц, он разозлился и закричал на лакея за то, что тот подал мне блюдо прежде, чем его сыну, с которым мы сидели рядом». Слуги, угождая господину, совсем перестали служить магистру, и в этом горестном положении Исмайлов нашел защиту только у одного своего воспитанника. Мальчика обиждало унижение, какое испытывал в доме его наставник, и он злился на отца и заставлял наглых лакеев прислуживать угнетаемому магистру... Таким только образом Исмайлов «мог получить что-нибудь».

Педагог сам, своею собственною персоною, сделался предметом распри между отцом, который его гнал, и сыном, который за него заступался. Победить, конечно, должен был генерал, но тут замечательно то, что он довел свои гонения на педагога до такого дикого

злорадства, что разыскал и противопоставил ему нарочитого супостата. Это и был любопытнейший экземпляр нигилиста тридцатых годов. Генерал дал ему волю сколько возможно вредить доброму влиянию воспитателя филаретовской заправки.

Магистр и нигилист сцепились: нигилист ударил прямо на то, чтобы сделать из магистра домашнего шута, которого можно было бы приспособить для услаждения досугов гостей и хозяина, и Исмайлов непременно бы не минул сего, если бы бдевшее над ним Провидение не послало ему неожиданной защиты. Однако любопытные стычки обоих педагогов ждут нас впереди, а здесь уместно мимоходом объяснить, чего ради в патриотической и строго-православной душе генерала совершился такой резкий куркен-переверкен, для чего он отнял сына у идеалиста с русским православным направлением и сам, своими руками, швырнул его в отравленные объятия такого смелого и ловкого нигилиста, который сразу наполнил с краями срезь амфору Сеничкиным ядом и поднес ее к распаленным устам жаждавшего впечатлений мальчика?

Ах, все это произошло оттого, что и русский патриотизм, и православие, и ненависть к чужеземным теориям – все это в генерале Копцевиче и ему подобных было только модою, приспособлением к устройству карьеры, и когда кое-что немножечко в этом изменилось, все такие господа ринулись рвать и метать врознь все, чему поклонялись без всякой искренности и о чем болтали без всяких убеждений.

Глава двенадцатая

Когда генерал устроился и прочно сел на нескольких креслах, так что «командовал огромным корпусом, рассеянным по всей России, был председателем комитета о раненых и презусом орденов св. Георгия», то он увидел, что мнения его тещи насчет непрочности «мантии» были основательны. «Протасов заточил Филарета в Москве», а в обществе среди почитателей московского владыки сложились такие истории, которые самую близость к этому иерарху на подозрительный взгляд делали небезопасною и, во всяком случае, для карьерных людей невыгодною.

При перемене обстоятельств ластившиеся к московскому владыке петербургские выскочки и карьеристы не только круто взяли в сторону, но даже наперебой старались показать свое к нему неблаговоление. В числе таких перевертней был и генерал Копцевич. Имея под руками и в своей власти филаретовского ставленника Исмайлова, он сделал этого философа искупительною жертвою за свои

былые увлечения московским владыкой.

Надо было иметь всю невероятную силу терпения, каким отличается наше многострадальное духовенство, чтобы выносить то, что выносил у Копцевича рекомендованный Филаретом духовный магистр.

«Я унывал, – пишет Исмайлов, – я не знал, как поправить свое положение и что делать».

Сотоварищем в терпении обид Провидение послало Исмайлову очень хорошую, по его словам, женщину, «гувернантку и воспитательницу» дочери генерала. Этой даме приходилось терпеть от невоспитанного сановника еще более, чем духовному магистру. Впрочем, иногда генерал как бы и сам чувствовал свою несправедливость в отношениях к гувернантке и магистру, и тогда он их уравнивал, бросая обоим им на пол то, что следовало бы подать нечеловечески в руки.

Глава тринадцатая

При таком хаосе велось как-то своим чередом ни на что не похожее воспитание русского дипломата, видевшего только притворство, грубость и омерзительное, растлевающее презрение отца к труду и научным познаниям воспитателей. Но и тут доля этих обоих воспитателей была еще не одинакова: гувернантка терпела более, потому что дочь, глядя на жестокое обращение с ее руководительницею, не только не сострадала ей, но еще сама прилагала тяжесть к обидам этой несчастной женщины, а мальчик вел себя лучше. Будучи весьма испорчен, он все-таки имел чувствительное сердце и не мог равнодушно видеть обиды, которыми отец осыпал его безобидного воспитателя. С необузданною пылкостью своего недипломатического темперамента и недисциплинированного характера он вступал с отцом не только в смелые пререкания за учителя, но даже и в ожесточенные стычки, доходившие до сцен в самом непосредственном русском духе; но, во всяком случае, воспитатель существовал только

милосердием своего ученика. Некоторые из этих перепалок оканчивались поистине и ужасно, и отвратительно.

Исмайлов говорит:

«Сын чувствовал мою правоту – сердился на отца и высказывал перед ним свое неудовольствие. Отец раздражался все более и более и раз разгорячился до того, что я едва удержал его от проклятия».

В доме шел какой-то ад, и широкие замыслы о «русском направлении» совсем растаяли при самых первых опытах их осуществления. А о православии даже и вскользь не упоминается ни одним словом. Патриотизмом и православием пошутили – и довольно: пора было подумать о вещах более серьезных.

Выше упущено заметить, что генерал Копцевич, после бесед с Филаретом, порицал не только общественное воспитание русских мальчиков, но был также и против русских женских институтов, воспитанницы которых, по его мнению, «метили будто только в фаворитки и никуда более не годились». Вообще он негодовал, «что институты наши не приучают девиц ни к чему дельному и не приго-

товляют из них ни жен, ни матерей», а для того он обещался митрополиту воспитывать дочь свою дома; но, увидав, что из этого ничего не выходит, он рассердился и отдал ее в Смольный институт. Для этой вопрос о русском духе тем был и кончен, а затем настала очередь дипломата. Исмайлов прозрел, что генерал после вторичного свидания с гетманскою дочерью «возымел другой план и насчет воспитания сына». Но прежде надо было отравить отрока Сеничкиным ядом.

Глава четырнадцатая

На счастье педагога, умерла теща генерала, а свояченица его, добрая девушка, приехала жить в Петербург.

С ней Исмайлову стало легче, ибо генерал, уважая эту достойную особу, при ней немножко сдерживался, а тем временем подошло опять летнее путешествие генерала для начальственных обзрений. Тут-то вот и случилась самая роковая вещь: генерал сам призвал к себе в дом «Сеничку» и поставил его над всем домом своим.

Вот как повествует об этом замечательном событии Исмайлов:

«Между подчиненными генерала был полковник – человек хитрый, недобрый и дьявольски самолюбивый. Прикрытый маскою смирения и благочестности, лести и вкрадчивой покорности, он выиграл расположение генерала и был принят в доме, как свой. Когда генералу настала надобность выехать надолго из Петербурга, он, оставляя нас, поручил любимцу своему навещать нас, обедать с нами и беседовать вроде компаньона».

С появлением «Сенички» в доме генерала поднялся переполох и запылала война.

«Полковник навещал нас каждый день и в беседах и во время стола склонял разговор на свои цели. Он был читатель Вольтера – не любил христианской религии, не знал даже, что такое Ветхий и Новый завет (?!); благочестие считал суеверием, церковные уставы – выдумками духовенства для корысти; признавал обязанности родителей к детям, но не допускал обязанностей детей к родителям. Вот в каком духе были беседы полковника с нами и с детьми генерала».

Дом исполнился ужаса и скорби, и все, кто чем мог, вооружились против ядовитого полковника; но он, будучи ужасно изворотлив, всех их превозмогал и всякий день продолжал разливать свой яд в детские амфоры.

«Тетка детей скорбела; я (Исмайлов) раздражался; та делала нашему супостату выговоры и замечания и раз сказала даже, чтобы он перестал посещать нас, а я вооружился против него всею силою науки и здравого смысла. Часто я низлагал его своим или его же собственным орудием, и дети более слу-

шали нас, чем его, но острые мысли не могли не западать в юные их души».

Яд был впущен, а чтобы исцелить отравленные им души, оставалось только нетерпеливо ждать отца и открыть ему ужасное бедствие, в которое он привел свое семейство, приставив к своим агнцам самого хищного волка. Конечно, пусть только вернется генерал, и ядовитый супостат сейчас же будет строго покаран.

Исмайлов еще верил, что генерал, с его «русскою душою» и его серьезным взглядом, покажет себя как следует, да и свояченица его думала то же самое. Однако, обои они жесточайшим образом ошибались. Поездка по святой Руси не только не освежила генерала своими народными элементами, но он возвратился в столицу настоящим Плюперсоном L'isle vert.

Глава пятнадцатая

«Генерал возвратился». Свояченица и Исмайлов не пропустили времени: они тотчас же ему нажаловались на полковника и все про него рассказали. Но что же генерал? Увы и ах! Он представил собою горестный образец великого числа тех русских консерваторов, которые не понимают, что одного «консервативного вождения» еще слишком недостаточно для того, чтобы быть способным охранителем добрых начал. Ему, как и многим из таковых, недоставало самой необходимой способности «различать между добром и злом», и раз что последнее приходило к нему в дом с почтительным искательством, генерал растворял перед ним двери и грел его, как змею у сердца. Прямые и честные предостережения таким людям бесполезны.

Генерал выслушал обвинения против полковника с неудовольствием и «не совсем им поверил». Лучше скажем, – судя по запискам, – он совсем этому не поверил, а еще шире открыл волку двери в овчарню.

Да, такой случай в тридцатых годах досто-

ин большого внимания. Поражаясь ужасом, а часто совсем недоумевая, как легко входили «Сенички» в русские простые, бесхитростные семьи в шестидесятых годах, многие с пафосом восклицали: «Нигде в мире нет такой свободы губительному соблазну, как у нас! Нигде доступ в семью всякому проходимцу не облегчен настолько, как у нас». И это правда, но неправда, что будто это явилось у нас последствием «веяний шестидесятых годов». Веяния эти совсем не в нашем вкусе, но мы все-таки не видим нужды делать их ответственными за то, что нет никакого основания ставить на их счет. Повторять это значило бы только приумножать ложь, а от нее уже и так трудно разобратся. Русская семья всегда была беспринципна, и такую ее заставляли все веяния, и в том числе веяния шестидесятых годов, нашедшие у нас по преимуществу благоприятную для плевел почву.

Несправедливо и присваивать все успехи этих веяний одному «среднему классу» потому только, что он дал наибольшее число увлеченных. В среднем классе «Сеничкин яд» дал большее обозначение только потому, что

здесь природы восприимчивые и биение пульса здесь слышится сильнее. Но началось «Сеничкино» отравление с верхов, которые показали на себе очень дурной пример низам, и теперь совершенно напрасно селятся поставить все дурное на счет одному «разночинству».

Глава шестнадцатая

Полковник-интриган был настолько ловчее своих благонамеренных противников, что опять стал в фаворе, а Исмайлов и свояченица были сконфужены и отстранены еще далее на задний план.

Исмайлов, как человек очень недалекого ума, объясняет слабость генерала к полковнику одною лишь хитростью сего последнего. Но по некоторым штрихам записок, кажется, следует допустить нечто более сложное. Полковник этот (по имени не названный) держится перед старшими в чинах запанибрата, чего не всякий себе может позволить. Особенно это неудобно было в то суровое и чинопочитательное время. Такой признак заставляет думать, что полковник был, вероятно, человек из дворянской знати, и притом из тех же мест, откуда был Копцевич и где сидела на своем корневище «гетманская дочь». Поэтому он и колобродил без церемоний в генеральской семье.

Генерал Копцевич дал в доме такую волю полковнику, что тот прямо забирал детей,

уводил их и говорил с ними в своем роде «наедине»... Это был какой-то злой гений, который находил удовольствие в отраве и растлении.

Бедный магистр даже затруднялся разъяснить, что это был за демон, но рассказывает, однако, как он иногда бросался в опасные схватки с ним, дабы спасти детей. Это и трогательно, и смешно. В одиночку Исмайлов на это не рисковал, а он заключил с теткою детей наступательный и оборонительный союз, в котором, впрочем, самая трудная роль выпадала на его долю.

«Тетка, – говорит Исмайлов, – должна была действовать на детей и на отца, а я против полковника, наблюдая за каждым его словом и поступком, как строгий цензор и как неумолимый критик». Но полковник нашел, что двух этих обязанностей духовному магистру еще мало, и начал этого «цензора и критика» нагло и беспощадно вымучивать. Воспитанный на семинарских хриях, Исмайлов отбивался очень неуклюже и понимал опасности своего положения, а других эти турниры забавляли.

В записках есть любопытное описание одного ученого диспута между магистром и полковником. Описание сделано в виде сценария рукою очень неискусною, но все-таки очень интересно, потому что на расстоянии полувека назад представляет, как и чем в то время «бавились» важные военные лица, при которых происходит весь этот турнир.

Глава семнадцатая

Прием легкой, но настоящей атаки полковника на самомнительного семинара был очень прост и весел. Исмаилов нашептывал на полковника Копцевичу, когда они с генералом случались наедине, а потом подступал к полковнику с «ударами» тяжелой научной критики, а полковник прямо, с налету, «все острил» на его счет, и притом, по собственному сознанию Исмаилова, «острил очень иногда удачно». Исмаилов все думал, что это еще ничего не значит, и не успел оглянуться, как во всем кружке знакомых прослыл «притворщиком и фарисеем».

Авторитет Исмаилова как ученого человека и воспитателя пал до того, что когда ему даже и удавалось побеждать полковника своими хриями, то и самые эти победы уже не шли ему на пользу.

Один из таких злосчастных случаев и составляет сценарий.

«Случилось мне, – пишет Исмаилов, – тронуть своего противника за самую чувствительную струну, и я чуть-чуть не поплатился

за то слишком дорого. Генерал праздновал свой день ангела. На праздник собралось много гостей. Один из адъютантов генерала, артиллерийский офицер, представил ему в презент пушечку вершков 6 или 7, превосходно отделанную, со всем походным прибором, кроме лошадей.

Когда пошли обедать, генерал приказал поставить пушечку на стол. Видя, что хозяин так любит эту игрушку, все стали любоваться, и кто-то серьезно спросил: „Где она сделана?“ Адъютант отвечал: „Здесь, в Петербурге, на казенном литейном заводе, по образцу такой же пушки в 8-ю долю“.

– Как в 8-ю долю! Это не может быть, – заговорили многие, – разве в 20-ю!

Адъютант настаивал, что действительно в 8-ю.

Пошли споры: кто говорит 20-ю долю, кто в 30-ю, 40-ю и более, сравнивая вес презентованной пушечки с пушкой образцовой.

Мой полковник – артиллерист, как и генерал, считавший себя в деле пушек смышленнее других, – обратился к адъютанту и говорит:

– Верно вы ошиблись: я полагаю, пушечка сделана не в 8-ю, а в 80-ю долю. Вы ошиблись одним нолем.

Все согласились было, но генерал обратился ко мне и спросил:

– Как вы думаете, Филипп Филиппович? Вы ведь тоже знаете математику, как и артиллеристы, и верно уже смекнули.

– Я думаю, что г. В. (презентатор пушечки) ошибся более, чем на один ноль, а полковник поменьше.

– Как это? – опять спросил генерал.

Я. Что больше ноля, то имеет значение действительное, положительное, а что меньше – отрицательное. По-моему, пушечка сделана точно в 8-ю долю, но весом она меньше настоящей пушки в 500 крат.

Никто не поверил моим словам, но все взглянули на полковника.

Полковник. Это уже какая-то математика церковная.

Гости засмеялись, – я смолчал, обидевшись непристойным выражением, но генерал потребовал доказательств.

(Так тогда и за обедами было серьезно и

строго).

Я. Ваше высокопревосходительство верите, что пушечка длиною точно в 8 раз меньше настоящей пушки?

Генерал. Так говорит г. В., и я не сомневаюсь.

Я. Она и каждая ее часть во всех протяжениях взята в 8-ю долю, следовательно, настоящая пушка больше ее в куб, т. е. не 8, а в 512 раз, так как куб восьми есть 512.

Генерал тотчас понял, а кто не понимал, тем я доказывал наглядно геометрическим чертежом, и все, даже дамы, убедились.

Полковник стал изворачиваться, стал утверждать, что не может быть, чтобы каждая мелочь, каждый винтик и гайка были точно в 512 раз более. Такая скропуляная работа требует особенного искусства и для игрушки была бы только напрасною тратою времени и труда.

Я. Это другой вопрос, полковник, и относится к технике, а не к церковной математике.

Гости засмеялись, а генерал, показалось мне, упрекнул полковника и, остановив дис-

пут, завел другой разговор».

Магистр чувствовал себя победителем, но не радость ему была эта победа.

Глава восемнадцатая

«Диспутант мой озлобился на меня, – продолжает Исмайллов. – Я предвидел, что добра не выйдет, и брал предосторожности. Мне удалось убедить генерала, что полковник – вольтерьянец, но не удалось вырвать из-под его влияния генеральского сына».

Зачем было не молчать и не согласиться, как сделал благоразумный «адъютант-презентатор» игрушечки?.. Где была у магистра «дипломатия»? В доме пошло что-то вроде игры в репку: бабка за репку, дедка за бабку, а дочка за кочку. Генералу это наскучило, и он так решительно «переменил план», что взял «будущего дипломата» с рук магистра и «отдал в пансион». Так весь величественный план особого воспитания «дипломата в русском духе» и распался прахом под влиянием одного коварного внушителя. Но генерал был добр, заявляет Исмайллов: «он ни за что не хотел отпустить меня из дома». Исмайллов продолжал у него жить в качестве домашнего литератора для особенных случаев, из коих о двух он упоминает.

К прежнему своему воспитаннику Исмайлов мог ходить «только репетировать уроки», но ядовитый полковник даже и в этом отдаленном положении не хотел терпеть магистра: он склонил генерала взять мальчика из пансиона и «определить в военное училище». Это от дипломатии было еще дальше, но генерал и то исполнил. А чтобы новое исправление ребенка получило окончательную и более целостную отделку, «присмотр и депутацию (!) за ним генерал поручил самому вольтерьянцу».

Вольтерьянцем этого господина Исмайлов, конечно, называет напрасно, потому что вольтерьянцы очень хорошо знали «ветхий и новый завет» и часто отличались умением критиковать св. Писание, и притом они любили порядочность в своих поступках, а это был какой-то неопиcуемый наглец и смутьян, которому во что бы то ни стало хотелось перемутить и перессорить чужое семейство. Злогадкой природы этого полковника дошло до того, что он «предпринял настроить сына против отца, а вину сложить на меня (т. е. Исмайлова). Раздраженный генерал решил лишить

сына наследства и своего имени (что такое?); я вовремя узнал об этом, встал против генерала и горько против него возопил. Началась борьба страшная, и в пылу неравной битвы я вскричал: „Бог проклянет вас за это“».

Генерал назвал меня злодеем, хлопнул дверью и ушел. Я побежал к свояченице, – та меня побранила (за что!). Кончилось тем, что генерал «акт разорвал», а полковнику, отравившему душу его сына, исходатайствовал за эти труды «чин генерал-лейтенанта»... Какая злая насмешка над самим собою, и как, значит, несправедливы те, которые думают, что такие оскорбительные издевательства стали случаться будто только в наше многовиновное время.

Развратитель, получив чин генерал-лейтенанта, уехал, но поздно.

«После него в доме водворился мир» – только не для всех это уже было благовременно. Золотая пора для воспитания юноши прошла в пустой и глупой суете; кое-как с детства нареченного «дипломата в истинно русском духе» выпустили в свет просто подпоручиком, да при том и тут из него вышло что-то

такое, что даже трудно понять: по фигуральному выражению Исмайлова: «он вышел офицер не в службе».

Вероятно, это в тридцатых годах имело какое-нибудь условное значение, которое нам теперь непонятно, но, во всяком случае, надо полагать, это было значение не из лучших. Вот чем и кончилось все это патриотическое юродство.

Сожалея юношу, Исмайлов говорит:

«Если бы генерал дал мне полную свободу в воспитании его сына, я достиг бы той цели, которая вначале была предположена, — я непременно приготовил бы его к службе дипломатической».

Достойна внимания и собственная дальнейшая судьба самого образователя дипломата-магистра Исмайлова, который, вместо того, чтобы воспитывать дипломатов, окончил служебную карьеру в синодальных секретарях. Здесь он приходился гораздо больше к масти, но, однако, тоже и тут терпел обиды перед более покладистыми сверстниками. Причинами его неудач по службе, кажется, всегда были его дипломатические наклонно-

сти и философское настроение: то он неудачно подслуживался благодетелю своему митрополиту Филарету, который потом его выдавал головою (см. в этой же книге «Синодальные персоны»), то он великодушно отрицался неслышанием, когда все его сотоварищи единогласно лжесвидетельствовали против митрополитов в пользу обер-прокурора Нечаева, который имел дерзость представлять государю фальшивые доклады и, будучи пойман на этом деле, публично называл членов синода «калуерами». Все у Исмайлова выходило как-то невпопад, не вовремя и некстати, и на этом основании, может быть, надо думать, что он, действительно, способен был воспитать такого дипломата, который мог бы сделаться очень опасен Европе. Я рассуждаю таким образом на основании выводов покойного русского героя Ст. Ал. Хрулева, который говорил так:

«— Что такое нам этот немецкий Бисмарк? Эко невидаль! Говорят: „Умен“. Что ж такое? Очень нужно! Ну, и пусть его себе будет умен — нам это и не в помеху. И пусть он, как умный человек, все предусмотрит и разочтет,

а наши, батюшка, дураки такую ему глупость отколят, что он и рот разинет: чего он и вообразить не мог, мы то самое и удерем. И никакой его расчет тогда против нас не годится».

Дипломат школы Исмаилова непременно мог выйти чем-нибудь в этом роде.

В ряду тех людей, с которыми Исмаилов жил, он, впрочем, не почитался за дипломата, а его считали здесь весьма способным литератором. Генерал Копцевич, как выше сказано, занимал несколько должностей, из коих некоторые были соединены с довольно деликатными обязанностями. Дело еще более осложнялось потому, что генерал по всем должностям «непременно составлял проекты для улучшений», – таков был его нрав и обычай. А при таком настроении у генерала по всем должностям, по замечанию магистра, «задачи бывали очень нелегкие». Из них Исмаилов упоминает о двух: раз дело шло о новой этапной системе. Прежде водили арестантов на длинных железных прутах и в шейных и ручных колодках. Дух времени и чья-то доброта находили нужным хоть немножечко это облегчить, – завести этапы. Копцевич сейчас

же задумал проект против этапов. Исмайллов написал генералу такой проект, где доказывал, что «выгоды этой системы гораздо не так значительны, как издержки» (sic). Проект его, однако, не имел успеха: к счастью несчастных, «система состоялась». Второй вопрос был совсем в другом роде: на этот раз дело шло «о поднесении государю императору Николаю Павловичу Георгиевского 4-й степени ордена за выслугу лет». «Канцлер орденов, – пишет Исмайллов, – расчел, что по установленному сроку следует государю иметь установленный орден, и поднесение ордена возложил на думу. В думе составляли проекты представления; составлял и генерал, поручал составлять и мне, но все проекты не нравились. Трудно было выразить право представления о государе императоре». Дело это было поручено Исмайллову в надежде на его литературные способности, но и то, что он написал, тоже не годилось, «генерал и его проект отверг». Хотели просить об этом митрополита Филарета, но «затруднение» как-то «само уладилось, – пишет Исмайллов, – государь стал носить орден св. Георгия».

В чисто литературном роде Исмаилов «редактировал одну пустую (sic) брошюрку, посвященную имени генерала, и одно довольно важное сочинение, выполненное по высочайшему повелению». Сочинение это не названо.

Прожил этот летописец 30-х годов холостяком, ибо, послужив в синоде, он столько наслушался о несчастных брачных историях, что пожелал остаться холостяком и, кажется, он хорошо сделал. А величайшая цель его жизни – «воспитание дипломата в русском духе» так никогда и не осуществилась именно по причине отравления его воспитанника «Сеничкиным ядом», изобретение которого совсем напрасно относят к шестидесятым годам и незаслуженно применяют одному лекарскому сыну Базарову.

Глава девятнадцатая

Оканчивая с летописью Исмаилова, которая, при всей ее скромности, открывает кое-что любопытное из глухой поры тридцатых годов, мы должны исполнить еще одно добровольно принятое на себя обязательство: «доказать», что рассказанная здесь история нравственного отравления юношества не была тогда единичным или даже редким явлением.

Резкие доказательства этому я нахожу в трех случаях описанных Исмаиловым брачных историй, из которых невозможно передать ни одной по их совершенному бесстыдству, превосходящему не только законы пристойности, но даже и самые законы вероятия. Однако, каков бы ни казался кому Исмаилов, но он человек такой искренний, что ему надо верить, – и вот для того здесь, в самом тесном сокращении, приводится экстракт из одного наделавшего в то время шума супружеского процесса.

К помощи Исмаилова, как синодального секретаря и как прославленного мастера чув-

ствительно писать, обратился «богач, провинциальный сановник V класса», «который был женат на женщине еще более его богатой и очень разбитной, смелой и умной, а притом крайне развращенной. Прожили эти супруги в браке 25 лет, и муж, не рано женившийся, к этой поре уже совсем остарел, а жене его только минуло за 45». Годы тоже для женщины не маленькие, но у нее зато и привычка жить была очень большая. Во всю свою жизнь дама эта вела себя так свободно, как только хотела: муж признавался Исмайлову, что сначала он немножко останавливал свою супругу, а потом, видя ее неисправимость, махнул рукою и дал ей полную свободу творить вся, елико аще восхощет и возможет. Она этим и пользовалась, а ее добрый Менелай себе выговорил только одно, «чтобы у него была семейная жизнь, к которой он привык». Исмайлов, ознакомясь с похождениями этой светской дамы, утомился их описывать и определяет ее кратко: «Это уже не была развращенная женщина, а просто – животное». Но, кажется, следовало бы выразиться еще строже, потому что дама, о которой идет речь,

В известных отношениях была даже хуже многих животных, потому что довела свои чувства и инстинкты до поражающего извращения. Необузданность дошла до того, что ею не были пощажены даже собственные дети. Этим и переполнилась мера отцовского терпения: он возмутился за детей, особенно за дочерей, из которых одна была уже на возрасте. А между тем эта неисповедимая мать, когда муж с нею заспорил, умчала от него всех детей с собою в столицу и сейчас же нашла себе здесь покровителей. Отец прискакал сюда вслед за ними и сначала запросил было по-московски много, чтобы «обуздать распутницу», но потом стал сильно уступать и, наконец, сдался на то, чтобы ему отдали бы, по крайней мере, хотя одну старшую дочь, которой по возрасту ее угрожала наибольшая опасность от безнравственной матери; но же на тем временем успела уже отвезти девушку в Екатерининский институт, и тут отеческие права встретили предел, его же не преидеши. И куда отец, искавший спасения детей, ни обращался, где он ни гнул свои старые колена, — мать, забавлявшаяся нравственною пагубою

своих детей, везде всегда преуспевала и все выигрывала. Так злополучный старик, много прохлопотав и много потратив, везде нашел только запертые двери, – заплакал и уехал, а его супруга осталась в Петербурге и при ней же остались все дети.

Такова-то была пресловутая правда тридцатых годов, которую достойно указать тем, кого возмущают нынешние выдачи «отдельных видов» тем женам, которые действительно терпят стеснения и обиды со стороны своих супругов. И совершенно в том же роде известны дела, где торжествовали столь же неправые отцы. Словом, торжествовал не тот, кто был правее, а тот, кто сильнее, и в этой-то атмосфере бесправия, в густой тени глухого безмолвия распускался черный цветок, из соков которого в течение целых веков выжимался «Сеничкин яд» – яд растления.

Наша цель была показать из правдивых записей современника тридцатых годов, что ядовитые отравы, приписываемые только новейшему «послереформенному времени», имели место и значение в русской жизни и в то прекрасное время, которое зовут «глухою

порою», но действовали тогда эти отравы еще злее и хуже, — по преимуществу в высших сферах общества, где эти отравы вошли в первое употребление и оттуда сообщались низшим. Во всяком случае полковник, произведенный в генералы за развращение сына своего начальника, жил и действовал за сорок лет ранее Базарова и был во всех отношениях хуже Базарова; притом же Базаров есть лицо вымышленное, а этот развратитель, произведенный в генералы, есть лицо, к сожалению, самое реальное, действительности существования которого отрицать невозможно! Каково бы ни было наше строго порицаемое время, оно все-таки без сомнения представляет сравнительный подъем, а не упадок нравственности, низменность которой в тридцатых годах была поистине феноменальна и ужасна. В облагорожении нравов, как и во многом другом, великое благодеяние оказало царствование Александра II, которое и должно быть поминаемо добром и искреннею благодарностью покойному государю и добрым людям его времени, известным в литературе под скромным названием «людей сороковых

годов».

За сим, начав сей сказ словами из повестей «об отцах и страдальцах», другими словами той же повести сказ наш и закончим.

«Вспомянув сих, иже вседоблего жития оплеваша красоту и любозазирающим елицы нашему худосилию довлеют словеса, мы убо любопрепирательное оставим и, ко пристанищу отишия ладийцу словесе ниспустивше, упокоимся».

Впервые опубликовано – газета «Новое время», 1883.

Примечания

Редактор «Гражданина», кн. Мещерский, недавно подвел «маленький вопрос»: почему Филарета, митрополита московского, в печати называют по его фамилии Дроздов? Пользуюсь случаем дать недоуменному князю маленькое же объяснение. Филарета называют Дроздов потому, почему называют Стефан Яворский, Феофан Прокопович, Феофилакт Лопатинский, Игнатий Брянчанинов, Платон Левшин. В обетах монашеских нет отречения от их светских фамилий и называть их по фамилиям никогда не считалось за неуместное. А напротив, это дает удобство различать Филаретов, Платонов и Игнатьев, которых у нас было много. Если же кн. Мещерский этого не знает, то это только потому, что он вообще, как говорили в старину, «в книгах не зашелся» (*прим. Лескова*).

[^^^]

Митрополит Серапион Александровский, не по многих годах после пожалования ему чрезвычайно драгоценных бриллиантовых знаков, которые он показывал Копцевичу, был уволен 24-го января 1822 г. Любопытная история его обещана «Киевскою стариною» (*прим. Лескова*).

[^^^]

Из «важных лиц», единомысленных и дружественных Копцевичу, в записках Исмайлова упоминается один только обер-прокурор синода князь Петр Сергеевич Мещерский, родитель издателя «Гражданина» (*прим. Лескова*).

[^^^]

Мать-кормилица (*лат.*).

[^^^]

Вообще (*франц.*)

[^^^]

СМЫСЛ (*франц.*)

[^^^]

7

Вернемся к нашим баранам (*франц.*).

[^^^]